КОРОВАКНИГИ

іванів

восстание грез

2009

Оформление Алексей Касьян

Виктор Іванів
Восстание грез. Повесть. М.: Коровакниги, 2009.– 64 с.
ISBN: 978-5-902945-12-3

ISBN: 978-5-902945-12-3

© В. Іванів, 2009
© Коровакниги, 2009

глава первая

Он спал под тяжелым бархатистым одеялом, всю ночь в нем барахтаясь, а на соседней кровати гостиничного номера дрыхал Михась. Они незлобиво поговорили друг с другом о том, что в гостинице нету завтраков, но это уже после пробуждения. И возникла мысль, как заплатить за гостиницу, ахнул было и присел, но вспомнил тут, так, что подбросило до потолка и закачало тусклую люстрицу, что деньги есть, много, но все крупными купюрами с круглыми цифрами. И спустились когда в приемную с четвертого этажа, то стал эти деньги раскладывать, так чтобы за себя и за Михася заплатить, оказалось, что у них нет сдачи. Впрочем, нашлась сдача, дают ему знаки денежные, а там – этикетки от спичечных коробков, фантики, вкладыши в жвачку, марочки, и вот дают еще пачку поувеситей, да потолще. И на вопрос говорят, ваш город далеко находится от одного государства, где такие деньги ходят, а наш немного поближе к нему. И аж подпрыгнул и внутренне присел от мысли, что об-

ман, подстава, измена, но Михась тут и говорит: да чо, сбудем, обменяем бабло-то, город большой, где-нибудь найдем. И тут раскрывается пачка, что потолще да поплотнее, а там газеты старые, тонкие, сухие, желтые, и буквы на них мажущиеся, что пальцем можно стереть, навроде «Гудка», а на полях арабские цифры расставлены, там сто, там пятьсот, крючковатым выведенные почерком, такими газетами окна заклеивали. А вечером ему уезжать, поезд в десять отходит, и еще билет надо купить.

И выходят они, от ничего не поделаешь, в город, и ищут в первую очередь газетный киоск, а находят на его месте пункт приема макулатуры, но обнаруживают, что он закрыт. И все улицы усеяны этими газетами ветхими, и метет их ветер, а на окнах сквозь специальные прорези кто-то глядит на них с Михасем, городок-то двухэтажный весь, и дома в нем все тоже с мажущимися ветшающими стенами, осыпает листвой деревья, а на веревках во дворах висят маркие сухие майки, и со вторых, и с первых этажей, кажется, кто-то молча исподлобья глядит на них, а на улице ни души.

Вот доходят они по улице Макулатурной, это читают они на болтающейся табличке, до улицы Мускулатурной, и там магазин в подвальчике, где написано, что продают бронзовых бонз и другое литье. А во рту прогоркло, словно от завтрачного масла,

или как будто полизал бумагу, на которую налипают мухи. И спускается с первого этажа хозяин магазинчика, и говорит, что обменять их деньги можно только на еду и питье, а божки не продаются. Да нах нам божки, говорит Михась, скажите нам, где этот магазин, где пожрать. Идите, отвечает хозяин бюстовый, два переулка, Селедочный и Льняной налево, потом будет улица Гречишная, и за ней переулок Медведкин, но уже направо. Там все есть, и столовая, и бутербродная, и сосисочная, и в ней курзал – там табак продают.

Поворачивают в переулок Селедочный, там пахнет касторкой, а на углу стоит человек в помятой шляпе и в брюках с красными лампасами. Правильно ли мы идем, спрашивают его, он отвечает, я не знаю сам, забыл, номера домов стерлись, и с названий улиц буквы осыпались тут, и тополи опали, думаю, когда бы метлу мне найти, я дворник, я подмету.

Да расслабься, говорит Михась, а у самого мысль, нам еще до вокзала бы добежать, а Михась говорит – за три часа до отхода поезда билет всегда купить можно. Поворачивают опять влево, должно быть, это Льняной переулок, и точно, на всех окнах висит какое-то тряпье, заплатанные штаны, и рубашки, а на балконе дородная женщина стоит и развешивает. Гражданка, правильно ли мы идем, спрашивают они, а она наволоку как парус надува-

ет, и прищепляет к веревочке, а потом панталоны к себе примеряет, и тоже на прищепку деревянную, в форме рыбки сделанную, вешает. Да авось правильно, голубчики, идете вы, но я дальше своего двора не выхожу. Ты че, бабàнька, не знаешь на какой улице, в каком номере дома живешь? Нет, отвечает, я и на двор-то выходила, считай, в запрошлый год. А запах не чуешь, магнезией здесь в нос прямо шибает, сама настирала? Нет, милок, это я свои наряды старые здесь примеряю, в которых щеголяла еще лет не помню сколько назад.

Плюнули, пошли по переулку, и видят – улица, а на ней фонари кланяются друг другу и сломанный светофор. Только переходить стали дорогу, поднялся такой ветер, что поднял их и на два квартала вбок унес. Только ступили на тротуар, как ветер стих, и Михась говорит, наверное, здесь все переулки параллельные, давай, надписей все равно нет, пойдем, а потом влево свернем, там, наверное, будет площадь. И свернули.

Идут, идут, а там дома сплошные, точно корпуса заводские, и забор долго тянется, и все нет и нет налево поворота. Идут уже час, два идут, три идут, и он на часы периодически посматривает, сколько показывают, считает, а Михась вдруг говорит, вот там виднеется какой-то толи парк, толи сквер. И убыстряют они шаги, и вот уже сквер близко, а перед ним киоск, который, кажется, работает. За-

пыхавшись, стучатся они в окошко, появляется из темноты глядящая продавщица, и обменивает им этикетки на коробкѝ без надписей, а бутылочные на чебурашки, а от масла бутербродного на бутерброды. И берут они все это радостно и идут в сквер, где сорок одинаковых оказывается лавочек, и садятся, выпивают, закусывают. Михась оборачивает голову и говорит, хоба-на, а вот и вокзал. А его сон сморил, припекать начинает солнышко, и Михась сперва сидит на скамеечке, где тот закемарил, и на голове у того смоченное пивом полотенце, украденное из гостиничного номера.

Михась – мужик крепкий, здоровый, сон у него нейдет, и говорит ему, давай, пока я поделю поровну наши деньги и пойду куплю билет на вокзале, ты подремли пока. И забирает себе все этикетки, а ему отдает то, что потолще, газеточное, и оставляет его лежать на скамье.

СОН

Вокзал подступает к зеленым скамейкам, облокачивается на их спинки, и ласково так дышит в лицо, и шепчет на ушко, пойдем. И встает он во сне, и видит, как перед ним разбегаются три винтовые лесенки, а потом сходятся, и на уровне балкона, за две тритии до потолка, расположена за ярусом с

перильцами гостиничка, где отдыхают проезжающие, вот стоят в кепках и в шляпах, и смотрят вниз, как в центре зала бьет фонтан, и на дно его бросают они монетки, и вот, некоторые из мужчин выходят с чемоданами из номеров, и ведут под ручку дамочек, и спускаются по двум лестницам в зал ожидания, а потом идут к поездам.

Но выше уводит лесенка, и вот доходят они до вокзальных часов, шестеренки которых со сдавленным скрипом поворачиваются, а стрелки на циферблате медленно и плавно движутся, а иногда, если опаздывают поезда, семенят мелкими шажками, а если спешат, нет, поезда никогда не спешат.

И выше уходит лестница, и сужается, и потом выводит в башенную комнатку, в которой четыре сводчатых окошка. И вот, выглядывает он в окошко, потом в другое, потом в третье, потом в четвертое, и видит, что в вокзальную площадь втекают четыре больших и широких проспекта, а на них тьмы и толпы людей, спешащих вразвалочку в разные стороны. И видит он еще одну лесенку, которая ведет на крышу башенки, и забирается туда, ступая по красной черепице, и видит город как на четырех ладошах, хлопающих друг в друга. И все улицы до мельчайшей крупиночки, до всякой сориночки, видит он все улицы и весь город. А от четырех проспектов разбегаются улочки, переулки, закоулки, тупики, улочки, переулочки, закоулочки и тупички.

И все это быстро, быстро двигается, торопится, кружится, так что и голова закружилась у него, и вот он падает в беспамятки, и летит вниз кувырком. Но потом оказывается, что пришпилен он шпилем башенки за манжеты и за воротник, и не может не только пошевелиться, но не может и дернуться-сдернуться, и так он завис.

Он просыпается, ноги онемели, затекли, а возле скамейки сбивает ногой пустые чебурашки, и, вляпавшись в остатки бутербродов, полуобернутые оставшейся газетой-ветошкой, и он просыпается от мысли, что нет Михася.

А до отхода поезда остается четыре часа сорок пять минут.

второй автобус

Доехал он до улицы Васильчика с двадцатью рублями в кармане, поехал туда затем лишь, чтобы в глаза одной девушки посмотреть, не видел ее три года. И такие ласковые, смеющиеся у нее глаза, думал он, а как увидел, точно, ласковые и смеющиеся, точно в Костеле, когда ксендз поднимается на кафедру и паству озирает, и видит в пастве такие смеющиеся, ласковые глаза. А она сидела в кабинете и письмо кому-то отправляла, а потом обернулась на него с некоторым опасением. Хотел узнать,

когда у вас конференция будет, сказал он, дайте программку, хочу докладчиков послушать. А глаза ее как рыбки золотые плавают, и лукаво поглядывают, и поблескивают.

А вот это что у вас за книжечка такая цветная, спрашивает он, можно ли почитать. А на картинке веселая добрая женщина яблоко сахарное ребенку своему показывает, и на языке написана книжечка на французском. А она и говорит ему, бери, почитай. Ну, пойду я, спасибо за программку, говорит, побеседуем после, и, может, где отобедаем.

И идет на остановку и садится в первый попавшийся автобус, идущий до центра. Правда, не первый номер у него, а второй. А туда ехал на номере 13-том, стоя, и окна фиолетовыми занавесочками были заклеены, и дождик моросил, плескаясь в лужицах. Но вот ехал автобус все время правильно, а потом покатил по улице Масличной, Больничной, и вдруг свернул на улицу Барвичную, где он на прошлой неделе проходил. Вдоль Барвичной тянется одна нескончаемая фабрика, и там не ходят девушки. Да, подумал он, сейчас попадем в тоннель, где машины все фарами светят себе, и два белых проема с каждых концов. На той неделе здорово полили его грязью в этом тоннеле, и туфли скользили по лужистой грязи, и оглядывался он на просвет, не идет ли кто. Да вот теперь ехал он по этому тоннелю, сидя справа на заднем сиденье, в углу. И думал,

вот сейчас доеду до цирка, а оттуда дойду до вокзала, нет, поправлялся он, сначала доеду до вокзала, а потом дойду до цирка. Рядом, как выяснилось из разговора, разговаривал плотник с женой и сынишкой, рядом, рядышком сидя, и сошла жена на остановке, и он подумал, мне через одну. А сынишке сидеть было неудобно в кресле, потому называл он его «крышечкой», а когда прикладывался к винтам на скрепах поручней, говорил «порезаться», и улыбался синими как земной шар глазами.

На слове «порезаться» его словно петух клюнул, и вспомнил он, что вчера друг его Мильтоша, которого как за смертью посылать, зашел к нему в дом, а на плечах смерть связанную с собой принес, и привел, и поставил посреди комнаты. И надо же так случиться, что только сейчас он это сообразил. А ведь Мильтоша на глаза надвинул свой поповский клобук и сразу же стал здороваться с ним миленько, но коварством почти повалил на землю, в дружеских объятиях своих, а тут еще прошла модно-одетая женщина, в рыжей коже, в рыжем мехе, в рыжей джинсѐ и рыжая, и, поворотившись, сказала: трупы по парку ходят и Ментов на них нет. Да и в это время автобус вырулил к ЦУМу, и поехал дальше до Цирка не через вокзал, а по улице Кондрашкина.

Выходя, он обернулся, и увидел Марию-Дебору и ее мать, которая сидела как старица в профиль, а Дебора-Мария спала с открытыми глазами, как

растение-змееносец, и, выходя, он уже кивнул им. На Вокзальной магистрали стояли в кружок семь цыганок, одетых в черные дохи и черные и белые платки, и молчаливо, и, казалось, танцуя плечами, покачивались и перемигивались. А на углу Ленина и вокзальной площади ждал его друг, у магазина хорошего. Страх нарастал вместе с холодом при приближении к вокзальному термометру, над часами с башенкой разбросавшему кубиками цифры на табло. Он остановился и стал лорнировать друга, но тот все не шел. А сердце было уже на серебряном, платиновом ли подносе, и тогда он прыгнул в четыре стороны сразу и крутанулся вокруг своей оси. И запел: месячишко, месячишко, ой и ой, сунься – сгинешь, сунься – сгинешь, ой и ой, актебер и сам, сам себе и ям, не крадем мы, не крадем мы, Волоскида. Пять минут прошло, и вот раздался звонок друга, который был уже на другой стороне, возле магазина «Всего хорошего».

Ты толи дурак? – спросил друг, как я мимо тебя прошел в пяти метрах, разминулся, сказал дружок, когда они с третьей попытки двинулись навстречу друг дружке, обняв часовую и противо-часовую стрелку. На, возьми, что просил, журнальчик, и заржал. Ну, все, пора мне.

И обратно повлекся он через Ленина, и увидел надпись «Офичина», то есть аптека. В очереди перед ним стоял человек в точно такой же куртке,

только в кепке другой. Запахло нашатырем, и он чуть не упал в обморок при слове срок лекарства «истек», сказанного бабушке впереди, как было с ним еще в детстве при самом упоминании слова «кровь». Он попросил стандарт экстракта валерьянки, но они продавали сразу только по пятьдесят.

Оставшись без валерьянки, он вышел на морозец, и потащился по улице Челюстей, и запел про туз бубей, он прошел через место гибели Эриваня, которого задавила машина, и потом родственники, не в силах платить, отключили его от машины искусственного дыхания. Дальше Цирк, Церковь, и «дай полосну, полосну, сполосну» вспомнилось, и он подумал, буду защищаться толстой пластмассово-резиновой авторучкой с золоченым надперьем, а в рот забью журналы дружка. Потом побежали деревья в разные стороны, потом полетели гаражи и горящие помойные ящики, потом он вырулил в двор соседнего дома, где Мильтоша сказал, что летом убило бабушку, ровно через два метра после того как его задумчивый, погруженный в свои мысли дружок прошел мимо. И вот уже его двор, где сметенный ветром или вандалами на попа лежал комод, который они вынесли вчера с Мильтошей.

Вытащили купленный за год до смерти его деда в городе Риге, куда они с бабушкой ездили, комод, в котором он знал каждую вилочку, каждый столовый ножик, каждую чайную ложечку, каждую от-

крыточку, каждую сахаринку, каждый ботиночек, каждую линзочку, и каждую карточку с похорон. И пал он на него давеча как на гроб, и поцеловал его, а Мильтоша сказал: прощай шкаф, здравствуй молодость, и повторил: прощай молодость, здравствуй шкаф. И точно, он еще крутил кепку на указательном пальце, закружилась, а потом заболела голова, а кепочка была такая что ни на есть «здравствуй и прощай». И мелькнула мысль – дружок, пока он крепко спал в своей квартире, пятеро изнасиловали девушку-соседку, прямо в ее комнате. И следующая – Левушку, копщика с кладбища, зарезали в его собственном подъезде из-за пачки сигарет. У подъезда стоял огромного роста и плотнейшего телосложения мужик с глазами слегка на выходе, то есть на выкате, точно ждал кого-то. Спросить, точно скажет: тебя. Какой тут журнальчик, какая авторучка, сердце упало, и он повлекся в подъезд, отворив домофон. Да, сказал он Мильтоше, забери с собой, что принес, не забудь.

ТЮЛЬ

Тюлипов привел в порядок свою комнату, вывесил тюлевые занавески. На столе лежали пять календарей: мельхиоровый, расшитой, пестрядевый, никелевый и православный. Он отрывал листочек каж-

дое утро, прочитав и пожевав, пока не выйдет красная, черная, оранжевая, голубенькая, желтенькая жижица, а потом выплевывал катышки. Так он делал каждое утро по одному листочку, но иногда он был под впечатлением, так что сжевывал календарь за считанные секунды. Он носил также часы с циферблатом без стрелок, бросая теневую полоску от воображаемой палочки, что торчала в глазу его. Да, а потом он смотрел в окно, где на другой стороне улицы загорали в окнах голышом люди, и думал о золотом лете, что пролетело так незаметно.

И вот протягивало оно ему свои колоски, бахрому кушаков с надписью лучшему орнитологу, криптологу, анатомопатологу, мечтологу, и мистагологу, а он перебирал их, как ветер качает колосящуюся рожь. Наливал себе чайник, и заглатывал его из горлышка, так что чайник помещался в нем целиком. Проводил он дни, глядя в окно на кухне, а вечером засаживался на тот же табурет разгадывать крестословицы и ребусы, а потом складывал решения в конвертик, чтобы на следующее утро нести их в свой а/я, абонентский ящик. Тьфу, это ответы он забирал в ящике, а конвертики складывал в синий с белым ящик почтовый.

Но это утром, а на ночь он закладывался на кровать у стенки и всю ночь слушал сквозь розетки доносящиеся разговоры соседей и соседушек, когда побранятся, когда поласкаются, когда помирятся,

когда поссорятся. И утром встречал их на лестнице, под лестницей, на дворе и на улице, когда шел на почту, отправлять ребусы или получать ответы, в которых не было обычно выигрыша.

И вот сегодня отправился он к почте через дорогу, улицу Магогу, и опустил в почтовый ящик очередной ребус, а в а/я нашел письмо не из рубрики разгаданных загадок, а письмо, распечатывая которое, у него заныло в груди от сладостного восторга. Там было письмо от Милитрисы Серебряно-карповой, знаменитой певицы-звезды, на веленевой бумаге с монограммой ее имени в виде цветочка и в форме водяного знака. Оказывается, он решил какой-то очень сложный ребус про тайное желание певицы-звезды из другого государства, и сегодня был последний день, когда нужно было дать согласие на встречу с ней. Это было написано обезоруживающим тоном, и у него был еще целый день для того, чтобы позвонить по указанному номеру, всего только один день, на все про все. Потому что письмо положили на почте не в ту коробку, и увезли сначала по ошибке в другой город.

И Тюлипов помчался, сломя голову, к себе домой и судорожно набрал нужные цифры на диске. После длинных гудков зуммера, от которых замирало сердце, появился вежливый голос барышни-автомата, который пообещал соединить, и точно, через две или три томительные секунды появился дик-

торский голос, который сказал ему, Господин Тюлипов, вы приглашены на аудиенцию, для вас забронирован билет на самолет в авиакассе, и зарезервирован номер гостиницы в нашем городе. Певица настоятельно просит вас не опаздывать. Тюлипов от неожиданности даже закурил запасенную сигаретку «Золотой лист».

Разбросав ворох вещей по квартире, сверкая пятками и орудуя руками, в кружащемся барахле, отыскал он свой саквояж, куда аккуратно все уложил, и, не завтракая, но, побрившись впервые за долгие месяцы и помывшись дважды – перед сбором вещей и после него, он устремился в авиакассу, чтобы оттуда уже ехать в аэропорт, все это проделывая в страшной ажитации. Потолкавшись в очереди, и там намяв некоторым бока, схватил он билет, и бросился на вокзал, где сел на электричку и поехал до станции Аэропорт, которую раньше он всегда проезжал мимо.

В электричке он сидел между беременной женщиной и монашкой, а за спиной играли в карты пареньки-гопарьки, и он по привычке стал слушать их реплики, и червонная дама побила бубнового туза. Заслушавшись и засмотревшись в окно, он задремал, и проснулся при объявлении его остановки, станции Аэропорт. Впопыхах протискиваясь между нахлынувшей с перрона толпой, он выпал на этот самый перрон и быстро сориентировав-

шись по указателям, оказался один в очереди на регистрацию. И уже через час вскочил в самолет.

ферт

Фецык шел по улицы Содовой, свернул на Конно-заводскую, и на углу завернул в кафе, в котором никогда прежде не был, или не замечал, проезжая на транспорте – здесь троллейбусная линия пересекалась с трамвайной. Он прошел мимо постриженных кустов, мимо поспиленных тополей, и на углу высморкался, да так громко, что дамочка с пуделем испугались и чуть было не гавкнули одновременно.

В этом кафе его не знали, а обычно по его приходу выставляли рюмочку. Только зашел он, как увидел, что все на него глянули, глянуть то глянули, а потом взор скосили, потупили, отвели. И буфетная, а вернее барная стойка, маячила в глубине, в темно-коньячном полумраке, спугнутом желтыми лампами. Но он не разглядел присутствующих, а устремился прямо к стойке. За стойкой стояла миловидная барышня, то есть барменша, и спросила, чего угодно. А он вместо обычной водочки и селедочки попросил коньяку, кофию, и коржик. Между тем все остолбенело опять уставились на него.

Сел он за столик, и совершенно не обратил внимания на человека напротив. Тот сосредоточенно

прихлебывал луковый суп, и запивал его лимонадом. Время пролетело незаметно, взмахнув своим темным жар-птичьим крылом, выпустив коньячный сумрак за окошко.

После пятой рюмки, уже водочной, и после пятого «экспресса», он задумался было о счете, вернее задумался еще после третьей, а после пятой напал на него дрищ, и он еле дотерпел до WC, на дверях успев заметить черные, точно выпуклые коричневые фигурки, точно африканские игрушки, и прошел в дверь кабинки, но сначала не смог поймать ни одной ручки, отворив тем самым обе дверцы. А счет перед этим успел-таки попросить. Ну вот, рассчитался, вынув стопку казенных денег из кармана, а потом быстро сунул обратно, но все-таки попалил. И уже обернувшись, проверил, лежат ли чаевые, и тогда и увидел человека напротив и тупые пристальные взгляды сидящих вокруг, хотя до этого думал, что сидит в кафе один. И на выходе услышал, приходите еще, а тем временем сосед напротив достал мобильный и куда-то позвонил. Двигаясь в густоте ночной улицы, которая вскипала в ночной эфир, проходя, как металл проходит сквозь плотную жидкость, машинально добрел до своего двора, миновав, как по красному целлулоидному треугольнику несколько кварталов, и уже в своем дворе зажег пятую сигарету, и только тогда перестал петь.

Вот уже горит его окно на четвертом этаже, а ноги выкидывают фортели, и руки крутят восьмерку. На его голос и огонек сбежались, как ему показалось, а на самом деле спокойно подошли четверо гастарбайтеров. Что он сказал им, он не мог потом долго вспомнить, и так и не вспомнил. Но они вынули отвертку, финку, пику, и кортик, и сначала отобрали сотовый телефон, а он, крутясь восьмеркой, как в упражнении руки на поясе, одновременно ловил лезвие ножа, и истошно кричал, и надсадно вопил, и дико вабил, как выпь. Незаметно зажглись окна во всем доме, вернее во всем колодце, залаяли собаки, замяукали кошки, и какой-то мужик с пятого этажа сделал четыре выстрела из дробовика, и после этого гастарбайтеры разбежались, и жена спустилась из квартиры, посадила его в машину и через четверть часа уже накладывали швы и зашивали порезы, но это уж он не помнил, а помнил лампу, маску, и белые маски четырех смуглых врачей, глядящих сквозь прорези, и потом, когда вдруг вспыхнул свет и донеслись гулом метро в голове в ответ на вопрос «где я», и слова соседей слева и справа, проснулся, и первым движением приложил руку к шее.

глава вторая

люминат

Люминесцентные трубки под потолком зажужжали, потом загудели, когда Фецык попытался оторвать голову от подушки, но она плюхнулась как гиря о дно. Пошевелиться было трудно, и он обнаружил, что лежит на боку, а в каком положении очнулся, уже забыл. Болели живот и спина. Появилась нянечка, наклоняясь и кланяясь всем больным в палате. Но сколько в ней койко-мест – не было видно, только кивающая нянечкина голова и часть лица, круглая скула и девический подбородок, потом появились две белые, белее халата руки, с зажимом, затем он почувствовал укол, видимо она сделала инъекцию в бедро, и он наконец разглядел ее лицо. Так потерпи, будет немножко больно, долетели строгие слова, и он увидел ее нежные карие глаза, и овальный треугольник лица под смеющимися глазами.

Через пять минут она унесла судно. Который час, обратился он к соседу справа, и тот ответил –

времени девять часов. А почему так темно за окнами? Ты что, приезжий, спросил его сосед слева, и сосед справа загоготал: у нас в декабре месяце в десять только появляется солнышко, а в два уже смеркается, слышь, Клавка, потерялся во времках. Но примолкнул, потому что по коридору приближался обход, точно пароходик с белой трубой, и в палату вплыл главный врач, а из иллюминаторов глядели врачи первой, второй и третьей категории. Ангелин идет, тихо загоготали соседи. И по мере того как он входил в палату, она разворачивалась под углом 90 градусов и остановилась, когда только врач уставился на Фецыка.

Так, у вас, больной, рассечение мышц живота, и брюшины, и мышц спины. Чудом внутренние органы не задеты. Тут только Фецик увидел, что сидит с вытянутой рукой, кисть которая была в ватно-марлевой повязке. И еще рассекли ладонь, мизинец мы вам приставили на место. Еще у вас отравление алкоголем.

А этот хорош, всю ночь бушевал, вышел в делирий прямо на столе, донеслось из угла, весь побитый, всю дорогу к нам падал, пока не свалился. Теперь только он разглядел человека, с лиловым, а местами пунцовым лицом со щелками глаз и красно-синими руками, свесившимися с койки набок. Спит сейчас, реакция пошла на наркоз, у него некроз тканей стопы. Голова снова ушла в подушку.

Сосед слева принес ужин, шамкая тапками по гладкому полу. Кормят здесь хорошо, сказал он. Я-то бульончиком хлебушек запил, а ему вот капельницей вводят пищу, упал с крана на стройке, уже третью неделю лежит здесь, легко ты отделался, толстые швы тебе наложили, порезы глубокие, да важные органы, сказывают, не задеты.

мусон

А до отхода поезда остается четыре часа сорок четыре минуты. Хочет он закурить, ищет зажигалку, и не находит, зато находит в ветоши, которую понапихал по карманам, свернутую в квадратик бумажку, которую разворачивает и на ней проступает герб неизвестного государства, а затем, и такие – точно гравированные, циферки и буквы его фамилии, инициалы, время отправления поезда, и дата прибытия в родной город, но уже смеркается и даты не разобрать, но она точно там есть, значится, то есть.

В окрылении он вскакивает со скамейки и движется к киосоку, чтобы обменять этикетки на спички, но не находит этих самых этикеток, и начинает подозревать, что их унес Михась. И идет он к зданию вокзала, рукой ведь до него подать, ан нет, идет уже час, двадцать минут, десять минут, а во-

кзал, кажется, все на том же уровне. Тогда берет он, чувствуя в себе силу, и скачет к нему гигантскими шагами и не может все доскакать. И ведут к вокзалу три дорожки гравийные, а он идет по центральной, а вокруг деревья темнеют и уже, кажется, все ниже клонить начинают ветви, и вот уже бурелом и коряги торчат, корни свиваются, репейники на брюки у щиколотки прилепляются, и парк прямо на глазах превращается в лес. И садится тогда он на кочку болотную, и загрустил.

И сидит он на кочке, расставив ботинки в разные стороны, и вдруг видит, что рядом на кочке сидит Фецык, и на два кустика занавесочки налепляет, и сам заходит с обратной стороны, голову высовывает и говорит вкрадчиво: прикури от светлячка! И точно, зажигаются светлячки, и прикуривает, а Фецык ему продолжает говорить, высунувшись из занавесочек, но так, что только ноги и голова у него видны, и говорит, а помнишь про Вальку Мастацкого, сидел он у меня в креслице в полутемной, как, знаешь, бывает пиво, комнатке, и вдруг говорит – на стене буквы вижу, и весь сначала вздыбился, а потом оглоушился. Я ему говорю, ты что, ку-ку совсем, что за буквы-то, а он по полу катается уже, во рту зажал то ли напильник, то ли паяльник и мычит, и до меня доносится что-то вроде: дай мне факел и палец. Ну, я, понимаешь, в дурку звонить не стал, не такой человек я, и сам взялся его лечить.

Счас включу, говорю, напильник в розетку, а в рот тебе припой засуну, а в уши канифоли налью, чтобы флюс из тебя пошел дымящийся. Ну, он сразу утихает, сбрыкивает на кровать, и там отлеживается.

А вот знаешь, продолжает Фецык, что троллейбус, когда от ХХС отъезжает, кажется, что ХСС за ним бежит, а когда подъезжает, так удаляется, точно слон пятиглавый и восьмилапый на нефах своих переступает. Так вот там если собачку задавит машиной, то он как картонка падает, то есть как четыре картонки, одна в другую. Ну-ка, прочти-ка надпись мою, наколочку, что возле большого пальца и указательного, и шевелит всеми пальчиками ладошки, и на каждой подушечке по черточке, по отметинке. Читает, читает он надпись, а она как гармошка автобусная, как прицепные вагончики троллейбусные, как трамвайчики на буксире, всеми буквами переливается, и вот погасла, стала чернотой, и вокруг чернее черной ночи чернота наступает, точно чернила кто мазутные напустил, и утопает он в мазутных чернилах, и воздух теряет, и вот-вот пузыри начнет пускать.

И вот вылетают пузырики, как шары лиловые-пунцовые, и в каждом пузыре домики изразцовые, а в домиках коньки да петухи важные и образцовые, и охра, охра на стенах, охра, нахра, и двери отворяются настежь, и выталкивают его, на скамейку около вокзала, приподнимает он голову с затекшей

половиной, но встряхивается и смотрит на часы, а до отхода поезда остается четыре часа сорок три минуты.

часовая бежит от секундной

И вот поднимается он по лестнице, и слышит на третьем этаже дяди Юры-боксера голос, узнает его с первого этажа, когда домофон захлопывает дверь с пиканьем. И поднимается выше и выше, и доходит до своей квартиры, за дверями двойными, и входит, и брякается спать. А кошурка его Музя в туфли его укладывается и тоже спит.

А потом, еще не задремав, одним глазом обводит фатеру, поднимается попить на кухню, в комнату большую заглядывает, и в ванную, и в туалет, и не находит спеленутой ее мумии, что поставил посреди комнаты Мильтош, ни в шкафах ее нет, ни на полочках, ни в шкатулочках, ни в часах, ни в зеркале. И тогда делает себе глазные притирания бальзамом золотая звезда, мумием и сулемой ранки и прыщики заживляет, а запивает бадановым чаем вкусный пирога кусок, от которого Мильтош кусяр отхватил. А часы снимает со звездочками на синем небушке в форме скругленного квадратика, и заводит будильник, и кладет руку под подушку, сперва ворочается и не может уснуть.

А потом и барахтается во сне, и так крутится, и так вертится, словно волчок. И вот видит, над ним склоняется женщина в белом и тянет его за руку, и передавливает у локтя, как тогда, когда брали кровь из вены в больнице, и вот хочет кольнуть, чтоб онемела, отвалилась рука. Но будит ее правая сестра, и усаживает его, и берет ладонь левой руки в свою ладонь, и обнимает ее как одну стрелку, и водит то по кругу, то по часовой, а потом против секундной стрелки, и выводит в воздухе вокруг головы крестики, кружочки, звездочки, и изпросонок выводит, точно гипнотизер беззвучным шевелением губ, или бабушка, мешающая суп поварешкой, и тогда уже бухается в спокойный здоровый сон.

в самолете

Тюлипов поднялся по трапу самолета – и после проверки билета, да и после регистрации, и после одевания синеньких бахил, да и на входе никто не толкался. Звучали только на чистом английском языке приветствия экипажа, и правила безопасности пассажиров. Самолет скоро плавно побежал по взлетной полосе, и медленно и тяжело, а потом все легче и легче, взлетел, и Тюлипов не успел даже рассмотреть родные рощи и луга, колхозные поля и государственные угодья, как самолет исчез из

вида. Только тень Тюлипова не полетела с ним и осталась на земле, помахала ему ручкой. Она-то и видела эту блестящую точку в зените.

Да еще в аэропорте начинается иное, какое-то не такое состояние, словно ты уже между небом и землей, и как будто даже тесно от этой мысли в голове, но она легко проходит. Да, и только теперь заметил он, Тюлипов, что в самолете он летит совершенно один. Немного поежившись, он выглянул в окно иллюминатора и обратил внимание, что сидит у самой аварийной дверки. Это почему-то обеспокоило его, растревожило, вдруг дверца откроется, и обожжет его, обреет с ног до головы холодом и сверхзвуковым ветром. Но тут разложило уши, и прозвучал приятный голос, по-русски и по-английски, что принесут ужин. Небо синело, темнея, а гряда розоватых облаков давала ощущение, что полет проходит вверх ногами, хорошо, что еще не вверх тормашками, подумал Тюлипов.

И тут явился, подъехав на специальной коляске, ужин, и из него вылетела и сама раскрылась фольгированная прямоугольная тарелочка, с двумя крышечками, а за ней выпрыгнул соус, повидло, масло – в герметичных упаковках, которые он любил еще в детстве. Насытившись, он хотел помочь убрать эти капсулы, но точно две невидимые руки спешно все складывают, и каталка укатывается.

Поглядел он в окно, даже с некоторым доверием на дверцу, и пища успокоила и даже обрадовала его, и он почувствовал довольство в животе. Наскучив глядеть в окно, так как нагнеталась там ночь, решил он почитать любимую книжечку, и достал старую желтенькую «Кладовую солнца», и опять пошагал по спящему в лучах болоту, пока не дошел до бурого бугра, и тут точно какие-то две нежные руки закрыли ему глаза из-за кресла.

И снилось ему сначала, что он танцует и поет с бомжихами возле горящего помойного ящика, и почему-то в такт вытягивает то левую, то правую ножку, а потом наступает утро и ломится он к другу Фецыку в железную дверь подъезда, предварительно позвонив, сейчас мы придем в три часа ночи, а звонит из сторожки кирпичного завода, и оттуда мчится на вокзал, озаряемый огнями помоек. Но вот наступает утро, и мимо подъезда пробегает женщина на костылях и спрашивает его во весь голос: «Здесь Вторая не пробегала?». И тут он замечает друга Фецыка, Бряху, который проснулся и стоит на балконе второго этажа и говорит: Тюлипов, ступай домой.

И вот бежит он домой и встречает по дороге Бенькà, который говорит ему: помнишь, Тюлипов, ты говорил, что не родился еще такой человек, который с Тюлиповым может совладать, так вот он, и вытаскивает из-за пазухи спеленутый моток ниток для пряжи на деревянной точеной рукояти.

И не может никак добежать он до дома, потому что рюмочные, что окружали его дом ровным восьмигранником, и туалеты общественные все кто-то убрал и переставил на одно деление, на одну клеточку, на одно поле. И тут он видит почтовый ящик, который летает и вываливает все письма, как листовки с вертолета, и вот он, Тюлипов, прыгает и пытается поймать то заветное письмецо с приглашением на аудиенцию, и гонится за ним по дорожке, и никак не может поймать.

легок на помине

Эх ты, Бряха-Октябряха, думает он, сидя на скамейке, и голову руками закрыл, курить охота, а в ларьке не поменяешь этикетки на коробок – вот, бывает, хватишься, а спросить-то и некого, все проспал, и электричку, и совесть с Михасем-карасем пропил, а Михась этот колобковой коровой умотал, уперся куда-то, и поди сыщи его, ищи-свищи, и где теперь Михась, и что делать, поминай как звали.

Как тогда вот за черным гробиком чахотного влекся, и черная колючая борода его вострилась, и глаза, глядевшие прежде на макушку да на темечко, все, теперь закрылись, и одна прибедняцкая старушка за гробом влеклась и выла непонятно за-

чем, гроб-то на санках везли – поместился в детские санки, и собаки лаяли. И пурга была, и метель мела, и кировские заводы чернелись и дыма удушливого напустили полное черное небо.

А потом бабулька-то выпросила своим вытьем на водку, и пошла плясать по городу, напевая рулядами песенки тюремные, и вконец в раж вошла и срам показывать стала, а потом забилась где-то под лесенку неизвестного дома и ночь там в беспамятках провела, и желтые дома с голубыми окнами на Дворцовой улице стояли, и тогда на пять минут небо прояснилось, а потом снова, пурга, вьюга, метелица. А в голове нелепицей звучали тяжелые, недобрые слова злой женщины из консерватории: туда и дорога.

На кладбище похоронили тогда в голом клочке земли, и пили водку с морепродуктами, и забурели после бессонной ночи в его конуре. И денег даже на лошадь не было, пришлось самим санки волочь, не то, что на катафалк.

Из больницы туберкулезной за сутки до того выписали домой, чтобы дать умереть, сердобольные доктора. А в больнице полны коридоры были черными людьми, и в самом проходе лежал, и только свистела грудь, и не мог и слова вымолвить, только перекашливались.

А дружок его, помнишь, Бряха-Игоряха, пневмонию получил на продувной Москве, да проле-

жал почти месяц в Мешалкине, да сердце в ночь 21-го дня остановилось и биться перестало во сне. А было ли легко умирать, поди узнай, спросить-то некого.

А дружок того дружка, в черном водочном чаду бросился с башни Бухарской крепости, там мы еще с матерью-покойницей были, в крепости, там яблоки сладкие ели, персики и фрукты. Белой стеной обнесен был наш школьный интернат, а потом отправлялись гулять по городу, и узбечки и узбеки, похожие на хлопковые цветы, мели улицы полами халатов, и выстраивались в очереди в метро, а ты не полез и заблудился на улице, тогда еще весь город на уши подняли.

А потом стоял ты в Карл-Маркс-Штадте, куда перевели отца, в окне, распахнутом в грозу, и от страха хотел прыгнуть вниз, но подошел солдатик, и разговаривал с тобой, пока не пришла мать.

Все эти мысли судорожно неслись, кружась в голове Бряхи, пока он стоял на скамейке, и вдруг испуганно вздрогнул, словно кто-то топнул бумажную бомбочку в пяти шагах. Перед ним стоял Михась, легок на помине, с глазами на выкате, замершим «А-а» во рту, и, запыхавшись, махал закачавшимися руками, наклонившись, как над окном, и с криком о помощи глядя на Бряху черно-красными непонимающими и вопросительными глазами. Наебали, еле ноги унес, сказал, продышавшись, он.

глава третья

летка-ленка-молочная пенка

Бенек спустился из подъезда около двух, неся три сумки вонючего мусора на помойку, на третьем этаже два рабочих курили в пепельницу-кошечку, и когда он дотопал уже до второго, разошлись по квартирам, где работали.

Он пересек двор, затем первый школьный подъезд под не дремавшим солнышком. Мусор запах, но он свернул в третий двор, чтобы не повторять путь колонны комсомольцев от дома Мыльникова, погибшего 1-го мая 89 года, и похороненного 4-го. Одноклассники тогда несли гроб на плечах, а в третьем дворе стоял когда-то гроб Ларискиной бабушки. Во дворе Мыльникова на скамейке сидела девушка в коричневой куртке, а справа стоял мужик в телогрейке и возле него лежал на санках черный макет мальчика без руки. Девушка, подружка Мыльникова, поглядела на Бенька. В автомобильных шинах цвели анютины глазки, и уже отцвета-

ли. На помойку слетели три голубя, и он положил туда три мусорных мешка. Подкатили слезы.

Шел состав. У зеленых куполов он заплатил музыканту. Повсюду были люди, знакомые и на взводе. А в метро, куда он спустился, прошла девочка из старшей детсадовской группы. Он бросил в урну вынутую из-за уха и докуренную сигарету «Вингс».

Правая дверца часовни была открыта, как он заметил еще от четырехзеленорогого крячковского дома. Миновав подземный переход, и неправильно дергая за ручку, он зашел внутрь и поставил три свечи: за упокой, и вспомнил что родитель только один – Николе, и своим небесным покровителям – по совету.

Но хотелось выполнить задуманное, и, купив сигарет, он все-таки спустился в пельменную в желто-красном доме Ханина. Чокнувшись с тарелочкой, на которой лежал дареный лимон, и, глянув на часики, он выпил водку «Лапландия». Лапландка и финка – повторил он на углу Коммунистической, где на ярусах за прозрачными стеклами в бывшей квартире бабушки, последней, угловой, лампочка горела.

И уже на углу Урицкого и Октябрьской, на теневой стороне зашевелились за спиной словно крылья, и полетел он над городом, то снижаясь, то падая коршуном, и раскидывал решетчатые тени,

тысячи лиц пропуская во взгляде, шагая двумя тенями, оставляя козырек бейсболки на темечке, проглядывая все улицы и перекрестки. Он искал Михася, но, как уже знает читатель, его не было здесь.

В прабабкином окне висел термометр, старый и черный, те же шторки за евроокном в большой комнате, та же октябрьская солнечная квадратная янтарная дымка казались смотрящими тихой и светлой печалью печальными женщинами, одна из которых курила и разламывала книжные корешки, а вторая ела приготовленный холодец. И пахло кукушкиными слезками, что собирали в лесу с прабабушкой, и во дворе тянувшегося на квартал дома сияли зеленые, белые гаражи, замерли вентиляторы, и разворачивающиеся сотни машин по сорока четырем дорогам двигались ровно, а над проспектами сияли золотом все купола, ровным, не жгучим, но ослепительным светом. А был и у «Водника» и у водного общежития, и у бассейна «Водник», и в затылок бронзовый глядел Ленина, играющего в свайку.

У подъезда Алевтина, бывший председатель кооператива, шепталась с Даниной соседкой, а когда приложил руку к кнопке домофона, появилась Марья Алексеевна, не сразу узнавшая его.

Четыре било, кошка встретила, зевая, и как тогда начались новости по радио, и три венских стула

стояли в комнате, и бабушка с двумя дочерьми глядела с карточки, и было тихо-тихо, а из форточки пахнуло свежим воздухом, и опять, как в школе, оставался час до прихода матери. Дареный рубль светился сквозь дырку в кармане, и солнце, как масличе желтое, синим кошачьим зрачком било в окне цитадели.

приземление при луне

Ловит и не может догнать Тюлипов письмо заветное, в это время кто-то отнимает руки от его глаз, и видит он, что дверка аварийная открывается, а креселко его подталкивает к выходу, в совершеннейшем ужасе он дергает за какую-то веревочку на своей одежде, которую Фецык именует «офитисью», и глядит вверх, и видит исчезающий самолет, и в это время раскрывается прозрачный парашют, и спускается он, и видит одну только звездочку, неподвижную и немигающую, и вот загорается медленно рядом с ней другая звездочка, а парашют уже опускается и накрывает его собой.

И выпутывается он долго из строп, как видит, что сидит на лодке, которая влечет его по быстрому каналу, и слышит звуки усиливающейся музыки за спиной, и укрупняются звезды, и роняют словно крупнозернистые слезы, которые омывают его ще-

ки, и понимает он, что это он, Тюлипов, плачет. Вокруг колышутся в воде верхотуры зданий, и в них с верхотуров глядят на него стражники, из люковых окошек, а от музыки все мембраны подрагивают, и лиственичные русты̀ звенят, и водят копийками по воздуху.

И загораются окна, но закрыты они бархатными занавесями, и видно только треугольнички желтого света, и в них руку с кольцом, край платья, и хочет он приложить глаз, как к замочной скважине, но не может подлезть к окошечку, потому что лодочка влечет его дальше, и вот подплывают они к парку в огнях, и там люди-аскеты глотают спиртовые фитили, и тогда обводит он головой по кругу, и видит перед собой, наконец, что в лодке сидит живая желтая без полосок тигра, и нюхает его бороду, а потом башмаки.

А потом вытаскивает тигра его за две штанины из лодки и усаживает вертикально и говорит ему – Тюлипов, проснись, вокруг оглядись. И просыпается, и оглядывает все вокруг, и видит два перекрестных канала X, которые разрезает новая лодочка, так что они сходятся в угол V, а потом лодочка вплывает в озеро, и какой-то человек держит в руках круглый фонарь, а потом лодочка замирает в центре озера, и человек отпускает фонарь, и зажигается луна над озером. И выходит человек из лодочки, и говорит: господин Тюлипов, мне поручено

вас проводить в гостиницу, завтра у вас назначена аудиенция, вам надо выспаться.

И поднимаются они по самобежной лесенке, взбегают они на какой-то этаж, и отворяют на нем первую дверцу, и вот Тюлипов уже спит, а кто-то осторожно развязывает шнурки и заботливо снимает с него ботинки.

бамбук и рубанок

Темнелось еще только сине-бурое небо над вышками, в котором плавала нефть, как тучи начали играть в буриме. Фонарь перед больницей горел. Проснулся сосед, что справа, и они стали с Фецыком шептаться. Живота у меня нет, ни печени, ни желудка, ни селезенки, однако живу, и жить сказали, буду. Завтра нас с тобой выпустят на первую прогулку. Только бы офитись поскорей мою отдали, не пойду же гулять в бинтах, подумал Фецык, и заметил знакомую фланелевую тень на стуле. А что за офитись? – да рубашка, майка фетисофская.

Впрочем, меня только в коридор. А тот, что вышел в бреду, Бредя, потихоньку проснулся и слушал, слушал, а потом сказал: батька и сына умерли в том году. Сначала сына, потом отца похоронил. Сын переехал от меня к матери, его убили в подъезде, а отец, отец упал дома.

Да, как тебя зовут-то, Пашка, а тебя, а меня Сашок, а тебя, а меня Федя, а он, а он, кто – я? Проснулся и прошептал сосед слева, а меня зови Петро. У меня с отцом, что и с тобой почти приключилось, инфаркт свалил, но встал и в реанимации бушевал, просил спиртà, и курева, насилу повалили, и потом еще этот, психолог успокаивал. Но жив, и курит уже.

Пойду сам дойду по маленькой, решил Фецык, и, покачиваясь, выглянул в коридор. Только в ординаторской слева и в середине там, где у медсестры в белых пластмассовых коробочках таблетки, так вот сидя спала там Клава, и он повернул к ординаторской влево. Ты куда поднялся? А швы откроются? И у него под плечом оказалось ее плечо, когда уже затрещали озоновые в голове искорки.

Дальше – сам, сказала она. Не запирай, голова закружится, и вот он вышел, пошатываясь, и довела, доковыляла его она обратно до палаты. Все – спать, нет, врачу скажу, сказала она, щелкнув выключателем и поглядев на подтянувших одеяло до глаз остальных.

А у меня у дружка отец умер в том году, продолжил разговор Сашок, а дружок-то в Англии, там бар у него, но не приехал, жена не пустила. А мать говорит его, купила икону, да бамбук ей привезли. Так вот бамбук ожил, а икона треснула на две половины, повдоль лица.

Эх ты, бамбук, сказал Петро, я-то бамбук, да ты не рубанок! И тут зашелестел дождь, точно кто-то касался рукой филиппинских занавесок в коридоре у бабы Нюры, и шептались они до утра, пока не рассвело, и сестра хозяйка не покатила на колесиках оцинкованную кастрюлю и чайник со сбитой эмалью по одной из сторон коридора.

черпак под номером 15

Михась, видя закемарившего Бряху, порулил к вокзалу, чтобы взять билеты, но шел и удумывал, и удумал: дай сначала сбуду фантики, и отправился чуть левее, левее и вот – совсем налево свернул, и точно, видит – вдали улица расширяется и что-то блестит там, как стрекозки крылышко. И ускорил шаг, хотя шел переваливаясь. И не обращает внимания на улицы без названия, а они рукавами его уже обхватывают, и оказывается он на площади, где дома, как кукурузные початки, и посреди площади какой-то памятник в пожарной остроконечной каске и с усиками, вернее с усищами. Они-то и поблескивают. И витрины кругом, витрины, на которых сокровища лежат несметные. Ну, бьет он стекло, и начинает сокровища дыбать, точно жар загребать, тут жемчуг, тут яшма, тут кораллы, тут золото.

Надыбал, потом идет на другую сторону и видит там курзал, и здоровенную сигару берет там, и кофий из кофейника наливает, закуривает, а потом видит когнаки всех сортов, и фрукты. Открывает тогда свою сумку, и набивает ее, и вдруг слышит звонок, как в театре, выходит,– а это свистит в свисток пожарник, потому что на михасевой сигаре фантики и этикетки тлеют. А со всех сторон народ валит с ведрами с песком и с кольями. Те, что с ведрами, пожар, «жареным запахло», а те, что с кольями, на Михася прут, но Михась-карась пронырливый и ловкий, как-то между ног и рук протискивается, а пожарникам кричит – держи вора! И сам с черпаком на голове убегает. Тут они прочухали, что такой медведь пожар учинил, да еще и убегает с награбленным, так они ломиться со всех ног за ним, и в пятки его огненными кольями жарят.

Но бежит он и ломит, не разбирая дорог, и между домиков двухэтажных пролетает, и чудится ему за спиной крики яростной толпы. Но чует он, что жареным пахнуть не перестает, глядит, а кроссовки его тлеют, и начинает он их затаптывать, и видит, что топчет их в желтоватой паскудной и горячей пыли.

И вот вспыхивает пыль эта вокруг него, и следы его горят, и несется он как угорелый, и видит речной бережок, и еле-еле уже на истомлении-изнеможении по пояс забегает и там отдыхает, сколько часов – не помнит.

И видит – поломанный мостик, а в двадцати шагах конный брод, и переходит речку и идет в лес, и садится одышливо на бревно. И слышит вдруг конское ржанье, и видит на светлой опушке табор, и костры и шатры. И выходят ему на встречу миловидные цыганки, и встают вкруг него. И выходит старая цыганка и говорит, ну что, Михась, зачем пожаловал?

Немного опешив при звуке своего имени, но тут же найдясь, говорит: поторговать. И достает часы золотые и жемчужные нитки, и говорит, вот на деньги русские поменять хочу. При этом слове цыганка-повитуха Старà бровь поднимает, и глазом правым подмигивает, и что-то шепчет, и точно рукой солит.

И видит Михась, что вокруг него двадцать человек цыган стоят, и острыми длинными ножами его щекочут, и снимают с него часы, жемчуга, шубу соболью, все, что надыбал в городе. И привязывают его за ногу к дальнему лесному дереву, а к другой ноге привязывают черпак с номером 15, а Старà надевает на полную правую смуглую руку свою часы и глядит на них, чуть стряхивая, идут ли ей. После чего шатры снимаются, и цыгане и цыганки и цыганкѝ дружно и делово удаляются.

А один цыганчик возвращается и говорит, завтра отведем тебя в город, чтоб поплясал перед народом, а если заартачишься, зарежем.

Ушел цыганок, дернулся Михась, не рвется цѐпочка, толкнул деревце, не ломается деревце, точно кол в землю вбитый. Загрустил Михась, ничего не боясь. Будь что будет, а того не миновать. А в глазах самозакрывающихся шторы не опущены, словно держат их двадцать лесных зверей, но не могут напугать. Тогда глазки-то он закатывает, и давай реветь, плакать горючими слезами. Наплакал речку, а все не легче.

И заснул, наконец. И снится ему дед его, у которого в квартире лежал он по смерти его, в окно цепляя воздушные мины, и входят друзья к нему, Тюлипов, Фецык и Бряха, а он лежит посреди комнаты голый, в одних трусах, а в руке его бутылка недопитая водки, а в другой руке хлеба кус. И дверь квартирцы распахнута, и окно раскрыто. И друзья, привлеченные дикой музыкой, стоят вокруг него и на него дивятся. Постоял дедушка, ничего не сказал и ушел.

И идет прадед его и переходит речку, что Михась наплакал, и говорит: Минь, вставай, ушицы заварим, сена дам коню своему. А Михась, как в стоге сена игла лежит, и в ус не дует, стрельнул прадед его в небо, потом в землю, высморкался и ушел.

И подходит к нему средний брат прапрадеда, и шрапнелью кашляет, и от газа рукавом рот и нос

закрывает. И говорит: Миха, вставай, выпрыгнул я из окопа, помоги товарищей моих с минного поля увести. Ну, спит Михась и глазом не моргнет. Схватил средний брат прадеда землицы свежей, и об пол швырнул и ушел.

И приходит к нему старший брат прадеда, переплыл он море, что Михась наплакал, да трубой пароходной гуднул, вставай, Мишка, картечью море горит, потуши его, дай встать товарищам со дна. А тот все посапывает. Гарцнул-коцнул тогда миною старший брат прадеда, и ушел.

И приходит к нему прапрадед, глухой, седой, с одной черной прядкой, бьющейся через чело. И «Шипку» закуривает, и говорит: вставай, Мишенька, но не встает Мишенька, и как плевнет в пол прадед его, топнул и ушел.

. . . . . .

. . . . . .

И спит дальше. И приходит его пращур – руку покрыл ящур, а в бороде родинка прячется, да не родинка, а пежина, говорит: становись, Михайл, во фрунт, но не встает Михась и все храпит. Перднул пращур, точно ядром выстрелил, и ушел.

И дальше еще громче храпит. И вот слышит писклявый писк назойливый, и подлетает к нему комарик маленький, и пищит ему тонюсенько, отгадай мою загадку, отгадаешь, раскую твою цѐпоч-

ку и половничек, а махнешь лапой, кушу, Малярина меня зовут.

Махнул рукой Михась да промахнулся, и куснул его комарик маленький, и сковало всего, паралич продрал во сне. И тут скок ему на голову мысль, как блоха-кусучка, и подумал он про себя, Малярина, ты не можешь кусить, потому что ты Карамора, Тарабарщина, Долгоножка и Водомерка!

И проснулся Михась, лежит он под дубом большим, и сова ухает, и нет цепи, и все тело у него затекло. И начал он по траве кататься, вокруг дерева, укатался-ухайдокался, да ползком, ползком, на четверкàх, на кортяшках, в три погибели пошел вокруг дуба. И вдруг видит, лежит перед ним дедовская кружка и ложка, что он тридцать лет назад под Болотным потерял, и потом каждый год ездил, чтоб отыскать. И берет, склоняется он за кружечкой, и выруливает с ней к скамейке, на которой Бряха сидит, голову руками обхватив, а ноги развел в сторону и ботинки врозь.

А до отправления поезда остается четыре часа сорок две минуты.

глава четвертая

семейственность

Бенек проснулся среди ночи и обнаружил свою левую руку в гитаре, а когда освободил ее, запели струны, и закачалась маятником гитарка Влакха. Через час две маленькие звездочки вокруг вчерашней большой зажглись. Проснулся от холода – в Ларискиной квартире, где на тумбочке стояли плиточные трансформеры, вроде тех, первых, что делал из пластика после просмотра фильма «Короткое замыкание», и которых друг поплавил на солнце; а на Лариной кровати лежали коники шерстяные, ослики, куколки платяные, а в соседней комнате стонала и причитала грузная бабушка – проснулся и натянул свитер. Во сне разговаривал с дружком, с кем разминулись у магазина хорошего, тот бежал на поезд Москва-Иркутю.

Проснулся, сбегал в магазин, запасся сигаретами «До завтрака», «пепси-лайтом» с сагиттой и каприкорном, написал пару куплетов, пару раз по-

завтракал, сделал пару звонков – в Москав пошел снег, и принялся за уборку, потому что не хотел. Все прибрал, вернее, свалил все в мелкие кучки, а по полу грязь размазал, как обычно, паутину убрал, паучка не задел, весь аж вспотел, над песиком поплакал, шутка ли, впервые с 31 декабря 99. Поговорил с птичками, подружил с мухою. И стал ждать.

Мать вернулась первой, прогнала поганую муху, тетушка – второй, посидели, поговорили, только вышли в коридор, раздался звонок в домофон, и скоро в комнату, не дали встретить даже. Вошла Венера и Марина на руках с Марьей Моревной. Посидели-поговорили, вспомнилась мадонна Бенуа, и мадонна Лита, чья репродукция теперь переехала в альбом и в кресло к тетушке.

Мусяка, Музя с тезкою шуганулась сперва, а потом Венера ее приласкала, курить не дали, смотрели босоножку Марью Моревну, тетушка-доктор ица сообщила, что доклад Ангèлина прошел на ура.

Выпили чаю, съел конфетку, найденную на полу давеча, поели сладкого, а Марьюшка откусит пряничек, как в детстве далеком формочный, получается щербинка, месяцик, и глядь, новый лунный пряничек в руке. Фото на память, мама молодая, а потом Венера глянула в глаза, как волчица из мультфильма про Ивана Царевича.

Спустился провожать и думал – не помогут ни дульца сигарет за ушами, ни свитерок, что жена

дружка постирала в освященной стиральной машине, ни спички финские «Сампо», все только в руках, ногах, голове.

И вертался когда, еще помог соседке вниз снести банки, потом на второй обратно, и на всякий случай сказал кому-то – у вас двадцать секунд на все, но услышал перекличку часовых, дозорных и патрульных, и увидел уже с балкона море сигнальных огней.

дудки

Бряха соскочил солдатиком со скамейки, как только увидел Михася, повалившегося на нее, и повернулся вокруг себя. Пока Михась отдышивался, Бряха стал придумывать план, но ничего не придумывалось. Михась же и замер с кружкой в руках. Воды, попросил он. И снял тогда Бряха с головы мокрое полотенце, и нацедил воды, смешанной с потом и с запахом пива. Солоно, сказал Михась.

Ты где был, спросил Бряха, и Михась рассказал, все как на духу выложил. А ты где был, и Бряха аж крякнул, здесь тебя дожидался, хорошо, что не ушел еще, снилось, что видел Фецыка в лесу. А фантики где? – спросил Бряха. Нет фантиков, остались только бантики. Ну, пойдем по миру милостыню просить. Только пойдем теперь направо.

Давай нарядимся как-нибудь, спляшем и споем, и спевать будем, и спляшем. И взяли они кружечку и пошли направо от вокзала.

Идут они, идут, а люди все свет, свет позажигали, и видно стало в этом бледном свете за клеенными газетами окнами, за пыльными шторками, то одну грустную квартиру, где только одна лампочка горит, как стоит там голый мужчина и из чайника воду булькает неслышно. А в другой квартире, напротив, ложатся на постель чужие люди, вот друг друга погладили и лежат, дальше тоскуют. И фонари все наклонные, как попало стоят и горят.

Но вот доходят они до перекрестка, и Михась говорит, здесь садись и играй, а я спляшу, а потом я сыграю, а ты спляшешь. И вытаскивает Бряха синюю гибкую расческу, и давай на зубчики посвистывать через кусочек газетки-ветошки. И тоскливо так Михась начинает, а потом все веселее, веселее, и гудит через две ноздри, и сквозь Бряхину трубочку пузыри мыльные пускает. Но никто не идет, не подходит.

И тогда меняются они местами, и Михась достает свою трехрядную губную гармонику, и гундосит, бибикая через нее, и Бряха сначала чечетку стучит, по черепушке, потом голосок показывает кукушкин, потом кричит по-петушьи, и коленцами до второго этажа сигает, но слуха никто не склоняет, подать не хочет, словно до чужих ушей не досягает.

И тогда вместе принимаются они оттапывать пятки, пускаясь вприсядку, сквозь сопатые ноздри как в сопелки выдувают, и скачут по улице, и кубарем катятся, и в следующем квартале слышат гудок, слышат запах гари паровозной, и видят переезд в квартале ходьбы.

И тут, тока они хотят стартовать, их окликает, руку на плечо кладет дудак гугнивый и шепелявый, достает целковый, и лыбится сгнившими зубами, и руку в трясучке тянет, и показывает куда-то – на расческу, гармошку, и трубочку, и кружечку, и взамен другой рукой показывает четыре целковых, и руку отдергивает, и опять отдергивает в своей дураковатости и даже с некоторой издевкой.

А тем временем поезд отправляется с первого пути.

тапка

Фецык поставил поднос на каталку, где в тарелке еще мгновенье назад дымилась каша, и чай, и поворачивал в коридор, как увидел Петра, с трубочками, торчащими из носа, который катил капельницу, но удержался от вопросов. Петро протянул кончики пальчиков, торчащих из гипса. Клава ушла со смены.

На койке он достал книжку, полистал и не заметил, как зачитался. К вам пришли, раздался голос, уходя, он увидел, что у Сашкà на кровати лежит

крупяной мешочек. Сухофрукты, смекнул Фецик по запаху.

Скоро заберут? – спросил он у жены с авоськой в сине-черное домино, как для сменной обуви. В смысле, выпишут? – спросила жена. Завтра-послезавтра, как врач скажет.

Они вышли на улицу и сели на серой, прохладной как наволока скамейке, и она взяла его за руку. Тучи разошлись, глянуло солнышко и скрылось. Когда выходили, дохнуло свежим ветерком. Они помолчали, даже не глядя друг на друга. Она проводила его до двери, которая закрылась, вернув его в мир больничных запахов лекарств и кухни.

Солнце осветило ровным светом коридор от ординаторской, и даже колесико каталки у операционной поблескивало. Он остановился у сестринского стола с телефоном и стал рассматривать подложенную под стекло сепиевую фотокарточку, на которой под дубом стояли какие-то мужчины в шляпах и с клееными бородами.

И он стал дожидаться вечера, пока не зажглись коричные лампочки, и он уснул, позабыв на ноге тапку.

туда-обратно

Бенек проснулся, когда в третий раз, вместо вчерашних трех звездочек, одной большой, и двух

маленьких, горел крестик без нолика, и вот расставился крестик мелким цветочком сирени, но белой, ирисом, звездочкой из восьми черточек. А когда проснулся в четвертый раз...

Отправились с матерью на ярмарку за овощами, хотели идти под дорогой железной по туннелю, но когда выбросили пакет со старым синим пальто, с газетами, и мусором, да еще коробку новую от телевизора, когда прошли мимо горки, где с Даней играли в футбол, а потом кастрюля гречки заволокла дымом всю кухню, еще на плите «Лысьва», еще с холодильником «Мир», сгоревшим во время пожара восьми домов в Ключах, когда сгорела и их летняя кухня. А назавтра тетушка позвала закатывать в дачу новую печку, потому что печки давно уже перестали ездить сами.

Но не пошли по туннелю под дорогой, которая выводила когда-то прямо на улицу Венскую, где жили прадед, сестра и жена прадеда, и ходил трамвай.

И добрались, по разности перебегая дороги и перекрестки, шукая машин до 905-го, где загороженная стояла в улицу ярмарка. Не звонили ли родственники из Риги, подумалось, и пожалел, что не пошел тогда по памятным местам, по сгоревшим, снесенным домам, на Каменке, да возле Первой, Второй и Третьей школы, на окраине Советской, где лакированный зеленым детсад, на вывороте у Храма Невского.

На ярмарке звучала песня группы ВИА, и ходили и толпились по очередям к грузовикам старики и старушки, старые и не очень дамы, и пахло медом, эмиратским чаем и овощами. Вспомнил, что Антон, рижский племянник, получил лихорадку в Тунисе.

Переругиваясь с мамою, надел рюкзак, так что обратили внимание, а перед этим у повернувшейся к нему лицом Мирьям, помог со второй попытки сложить кочаны в пакет.

После скорого обеда помчался к Лексею, потеряв по карманам мелочь для нищенки, которая уже 12 лет как пела: «Помагите пажалуйста. Ради Бога», и положил ей в руку пятьдесят копеек. Она удалялась, но не в черном, а в синем своем плаще. Теплынь стояла на улице. Промелькнули девушкин волос на щеке, поруливший за спину автомобиль, в немецкие визы, край Пентагона, чих в окне Юношеской бильтеки, и дальше – затопали каблуки и засверкали пятки мимо Облисполкома, мимо дворника, медленно метущего листву, только б успеть до двух, до начала сеанса в Синеме. И уже все еще быстрым шагом, мимо Невского храма, и по левому краю взгляда вождя Революции, отодвинувшего Красный, свернул к кинотеатру.

Но Лексей не записал пленку, и запись была не готова, а триединая жена и ребенок его заболели, и он смотрел глазами начинавшейся простуды. Жал-

ко, что не пойдешь на сеанс, да, надо бежать, дела. А надо было позвонить.

И медленным шагом, так что солнце, за которым бежал вперегонки со временем, теперь шпарило и пекло спину, пока медленно шел мимо дворника, собравшего листву уже в черную бочку на тележке, мимо овощной ярмарки на Свердлова, мимо облисполкома, где дрались с любимым другом на крыльце темной ночью, и где впервые потерял контроль над собой, и не остановился после крика «у него нос сломан», а только после выкрика охранника, вы знаете где деретесь, с крыльца Облисполкома, и как потом везли синебурой ночью из Первой поликлиники на Горбольницу, и разбитая подлым ударом губа друга, и фиолетовые утра на Кирова, где сгорел сталинский корпус связи. И туда, за рынком, куда теперь пошла пятерка троллейбуса, и где Колюха и Рец, мимо памятника Маяковскому и бюста Покера.

И бабушка друга, умершая 5 месяцев и девять дней назад, и его упокойная молитва на девять дней на кладбище, и последняя цедулка водки. И баба Лиза, найденная дядей Юрой через неделю, не было телефона, вернулся тогда из командировки, и Данин спасенный плафон люстры из трех плафонов, падающий на подушку дивана.

И тот же подземный переход, в котором пробежал, задев его за поясницу, Шрай, учитель из Первой школы, и исчез перед свертком.

И далее знакомый молодой и веселый памятник Вождю, на макушке которого сидела птичка, и птичка, сидящая на папахах и буденовках скульптурной группы, и на факеле и на колоске работницы, и голая скула и глазница статуи, кожа которой лоснилась на солнце.

И отодвинутый парк вокруг статуи, где в апрельский денек стояли детсадом, и глядели на синие теневые полосы ветвей, и мягкие трещины, где тогда кормил птичку, и две глухонемые красавицы, затушившие недокуренные папиросы.

И нищенка «Помагите пожалуйста. Ради бога.» в обратном вагоне, и немного больше мелочи в ее полной руке, и конопляный запах в цветочном киоске, и охранник Ломбарда, тушащий бычок, и Огоренко, выносящий стройматериалы и угли уже у первого подъезда, и четыре запаха из квартиры Бабы Нюры, табак, чай, кориандр, лук и яйцо.

забег длиною в квартал

Слыша гудок в расклоненном воздухе, хватают опешившие было Бряха и Михась дурака за бока и тащат с собой по кварталу, чуть касаясь носками его сандалий по земле, и долго-долго бегут по улице до переезда, боясь, что поезд или проедет, или переедет.

И вот добегают до дощатого переезда, а это оказываются подмостки трамвайной линии, и не переезд это вовсе, а виадук. И хватают они дурилу за помочи, и постромками бегут через виадук, а он под 90 градусов загибается, и оказываются они на лесенке, и бумкают его башкой об каждую ступеньку, но не больно, потому что он только прыскает и недопонимает.

И добегают они до здания Восточно-Западного вокзала, и покупают билет, но перед ними выстроилась очередь в четыре человека, и долго оформляют билеты. И вот доходит их очередь, и Бряха выуживает из кармана два паспорта темно-красных, свой и Михася, и вытрясают они из дуриша четыре целковых, что хватает как раз на два билета.

И выметываются они из вокзальчика, а поезд уже пошел, пролетев четыре станции, и вот подножка последнего вагона сейчас уплывет из-под ног...

покров

Сказано в Майкопской, Первомайской часовне, Пятницы-Пятидесятницы Красноярской часовне, светлый саван сними и обрати в парчу белую, да легок покрой будет твой, храни всех нас, бывших и небывших, в руцех своих, Пресвятая Мати.

Аминь.

глава пятая

ящик для багажа

Вот заползают они на подножку, а летящий на подтяжках за ними дурыц тоже вползает за ними в вагон. В вагоне только свет убавили, все ложатся спать, глядь, а купе свободно одно. Усаживаются, поставив дурака на стол, и начинают вещи свои раскладывать, в ожидании контроля билеты проверяют свои, страховки вложенные, и в окошко смотрят.

А в окошке, темнеющем на глазах и отражающем постепенно само купе, видят они начинающийся мост через реку, и чувствуют ногами, качку. Ногами чуют мостовые легкие рельсы конструкции, словно полозья саночные, что то под горку, то в горку тащить приходится и ехать.

И забыв дурака, укладываются спать, но тут проезжают уже за середину моста, как слышат шум приближающихся контролеров, то бишь проводницы, так и не заснув – не получилось.

И вот входит проводница в купе и первым делом спрашивает, что это у вас на столе за чудо-пугало? Где на него билет? Мало того, что без постели засоряете купе чистое, кожаное и мягкое, так еще и это у вас. Непонятки.

А Михась и говорит. А мы его в ящик багажный заховаем, там дырочки ведь есть? Ну, мнется проводница, а потом говорит. Все равно вагон отцепят в первом городе за мостом, ховайте, пусть ехает. И кладут его в ящик и уже крышку с крюка снимают, как видят, что это их друг, именуемый также Бенек.

мытье и бритье

И Бенек счастливый, улыбочка до ушей, не слыша ругательских слов Михася и Бряхи, которые между собой ругаются и его костерят, и еще с проводницей бранятся, узнает их, и вне себя от радости лезет обниматься и выпрыгивает из ящика.

И говорит им проводница, помойте его. Пусть сам моется, еще мы мыть его, цацкаться будем. Ну, дайте ему что-то из своей одежды, говорит проводница, пусть он пересидит хоть в туалете. И достает Бряха мыло, Михась тапки, ножницы и бритву электрическую, и вдруг видят, что Бенек понимающе и оценивающе смотрит на них, что приводит их в недоумение, а потом в дикое раздражение, и раз-

ражаются они дружным хохотом. На, помылься, постригись, помойся, одежонку смени, Бенек, и на все про все у тебя 5 минут, потому что потом туалеты закрывают, ну, этот закрывают последним, может, еще пять секунд.

И вот мерно стрелка часовая круг свой петлей завершит, но не в накид, как вертается стриженый, бритый Бенек, в михасиной и бряхиной пополам одежонке, и сбрасывает ветошь свою в мусорник, а из кармана вынимает пачку примака и говорит, сохранил, Бряха, ты мне при расставании дал, и вытаскивает бронзовую зажигалку, и говорит, сохранил, Михась, с того раза как у тебя стянул с фуршета. А я – искал, обыскался!

И поезд уже подъезжает и светать начинает, и проступает знакомого, родного города очертания, как видят они, глядя в окно тамбура последнего вагона, затягивая глубокими затяжками «Приму» и выпуская дым через шесть ноздрей.

И вот ближе уже к десяти въезжают они в вокзал, и спускаются, и видят идущего им навстречу Фецыка.

вокзал восстания грез

Фецык вскинулся с кровати и вспомнил, что кого-то он должен встречать на вокзале, а кого, вспом-

нить не может. В авоське-домино находит он свои манатки, и даже кеды, припасенные женой, по-быстрому одевается, приводит себя в порядок, и пока новая нянечка и охранник спят, утомленные ночным дежурством, потихоньку выбегает из больницы и прыгает в первый трамвай, который везет его вдоль пяти линий, и ссаживает его на шестой, и поворачивает на Константиновскую батарею.

Петро, Сашок и Пашка же, притворившись спящими вполглазка, за ним наблюдают. Смастерили они сонный настой и добавили в котел на ужине, и скрылись по палатам своим, по палаткам, и пока спал, держали военный совет. И удержались пока от решительного ответа, постановив дать решительный отпор.

И подъезжает Фецык на трамвае и шагает на Восставший Вокзал, и идет осторожно как по наущению или просто по наитию и выходит к пятому пути, седьмафорной платформе.

И видит, как с отцепленного вагона выходят ему на встречу, чуть погодя, как уже все прошли, друганы его, карефаны – Бенек, Бряха и Михась.

И видят они, как подъезжает кортеж прямо к запасному пути, и смотрят, как выходит оттуда красавица, певица-царица-птица-девица, и долго смотрят им вслед. И в кофейне вокзальной, выкладывает Бенек из дырявого кармана пятый целковый, юбилейный золотой, и начинает рассказывать.

дверца, каруца, полог, занавесь, и две руки

Тюлипов просыпается и сонно потягивается, и видит, что он потягивает вишенный сок из бокала, а невидимые гувернеры одевают его, наряжают и прихорашивают.

И после завтрака и кофия с коньяком выходят они из дома с коньком и по перламутровому мостику идут за болонкою с хвостиком, и в каруцу садятся и летят с ветерком.

И жемчужная ниточка переходит в замочек, а от-по молнийному замочку спускаются они к башенке с пятью золотым, серебряным, бронзовым и темнонебушкиным циферблатами.

И попадают на ручную гладь озерца, и под солнышком скользят к арке с темно-синим пологом.

И сквозь полог проходят как сквозь синьку-бирюзу, и кислород, и синильку раскусив, как мускатный плод. И там виднеется пряничная дверца, и протягивает к ней руку Тюлипов, и приотворяет ее, и видит, что тонкие руки отнимает от глаз.

рассказ бенька

Я летел а с моблака
Вот и весь рассказ Бенькà

виктор іванів

восстание грез

повесть

Редакция: Алексей Дьячков
Дизайн и верстка: Алексей Касьян



Подписано в печать 15.04.2009 года
Формат 76×108/32
Бумага офсетная. Гарнитур Баченаса
Печать офсетная

Коровакниги
109518, Москва, Крапивенский переулок 4,
строение 1, 2-й подъезд, офис 6
Телефон: +7 495 971 4792
e-mail: cowbooker@bk.ru

Отпечатано в типографии «Арес»
Москва, Остаповский пр-д, 5, стр. 6с
Телефон: +7 095 739 98 44